

Надежда Тэффи

Даровой конь

Николай Иваныч Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену? – думал он. – Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Приятеля посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

– Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут, – скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Денег выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию: бросил курить.

– Чудесный у вас конь, Николай Иваныч, – сказал соседний лавочник. – Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Иваныча.

– Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

— Что вы, помилуйте-с! Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверять опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать.

Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

– Не свели еще, лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

. – Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?

– Она еще не объезжена. Очень дикая.

– Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчик, вы не вздумайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в каком случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, – говорит, – от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничивался чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

– Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой.

– И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

– А какие?

– А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзют.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

– Я, – говорит, – такой аппарат поставлю, что, как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трзвон по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.

Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят – замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

– Ска-тина! – крикнул Уткин. – Это она ногой наступила на проволоки. Ишь, жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволит себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то. Лег спать. Едва успел задремать – опять треск и звон. Оказалось – кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный, пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробежал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? – думал он, уткнувшись в подушку. – Разве я человек? Разве я живу? Так – пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порой трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.

– Что, объела? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козловые сапоги шить. Губернатор-шин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом. Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом: все ли благополучно?

А все!

– А лошадь... цела? – почти в ужасе крикнул Уткин.

– А что ей делается.

– Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

– А ей-Богу, барин! Вы не пугайтесь, конек ваш целехонек. Усё сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

Надежда Тэффи Жизнь и воротник

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

– Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

– Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми, И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие – ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

– Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

– Господи! Куда я попала?!

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

– Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул.

– Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

– Да ведь здесь нет никакой музыки! – возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытщенные из Олечкиного стола.

– Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была? Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

– Где была? Со студентом болталась! Честный муж пошатнулся.

– Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

– Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела.

Да и знала ли она это дурацкое слово – «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

– А где воротник? – спросите вы.

– А я-то почему знаю, – отвечу я. – Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

Надежда Тэффи
Когда рак свистнул
Рождественский ужас

Елка догорела, гости разъехались.

Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирает мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.

– Последний раз делаю елку, – говорил папа Жаботыкин. – Один расход, и удовольствия никакого.

– Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику, – вставила мама Жаботыкина.

– Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.

– А я думал, что он мне живую лошадку подарит, – поднял голову Петя.

– Да, черта с два! Когда рак свистнет.

Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые, бараньи глаза уныло уставились в одну точку.

Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.

– Папа, отчего рак?

– Гм?

– Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?

– Гм!...

– А когда он свистит?

Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:

– Пошел спать, поросенок!

Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте – под ложечкой, – словом, всюду мерзость запустения. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.

Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиньей. Она сказала:

– Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.

Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.

Стал Петя расти, стал больше задумываться.

– Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.

Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «когда слон полетит» или «когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими.

Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.

Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что та дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее.

Умирая, сказал сыну:

– Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым, рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец! Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы – Жаботыкины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!

Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестила Жаботыкина в мистера Джеба, и, таким образом, эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников.

Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошади мочальный хвост, спрашивал:

– Папа, отчего рак?

По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему стогорали в своих несбыточных желаниях и мучились.

Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:

«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу! Акционерное общество «Мистер Джеб энд компани» объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак, и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»

Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот, – думали, – верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламирровать новую вакцину. Знаем мы их!»

Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.

А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах, никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.

Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.

Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенное в самые фантастические цвета, – зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блесках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.

Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.

Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист.

25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пойдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то и так далее.

С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.

Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.

Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет, и дураков валять довольно глупо.

Ровно в два часа дня раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.

Но тут произошло что-то странное, непредвиденное необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не хотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно вдуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.

Толпа шаррахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать.

– Что такое? Что же это?

Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:

– Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»

Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.

– Провалилась, подлая! – напутственно прошамкали чьи-то губы.

Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топчя друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:

– Бейте меня, православные! Моя волюшка в этих бабах дохнет!

Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собою чужих желаний.

Люди гибли как мухи. В целом свете только одна какая-то девчонка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела непрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только они были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.

Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще более вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.

Рак сдох.

На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:

«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака – собственность «Мистера Джеба энд компани», утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания. – Не просыпайся!»

Надежда Тэффи

Нянькина сказка про кобылью голову

– Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? – спросила я у своей соседки по five o'clock'у.

– Как вам сказать!... Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avons, ils avont» ^[1]... или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

– Все это вздор! – перебила ее хозяйка дома. – Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, – это развитие в детях фантазии.

– Однако? – удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь состричь.

– Finissez! ^[2] Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька – вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

– Pardon! – вставила моя соседка. – Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

– Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. вспомните, как отзывался о ней Пушкин:

«Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоём таятся...»

– Pardon, – вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей, – это, как будто, к чернильнице...

– Что за вздор! Разве чернильница может нянчить. А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», – ведь всему этому научила его нянька!

– Неужели и «Евгений Онегин»? – усомнилась моя соседка.

– Удивительно! – мечтательно сказал хозяин дома, – такая дивная музыка... И все это нянька!

– Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

– Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! – заметила моя соседка. – Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

– А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

– Говорят, есть такие флюиды... – вставил хозяин, сделав умное лицо.

– Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто Дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более, я – мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

– Прихожу я раз в детскую, вижу – Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, – Господи, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!»^[31] – выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

– А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

– Карл и Франц Мор, – подсказал молодой человек.

– Да, – согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: – Ах нет, на «Д»...

– Решке, что ли? – помог муж.

– Finissez! В жанре... в жанре Маковского.

– Так вот – картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. C'est poétique^[41]. Так что же, – пойдете?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:

– «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.

– Здравствуй, – говорит, – папаша! Испугался мужик, однако делать нечего.

– Какой, – говорит, – я тебе, кобылья голова, папаша!

– А такой, что веди меня к себе в избу жить. Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

– Папаша, а папаша, я жениться хочу! Испугался мужик, однако делать нечего.

– На ком же ты, – спрашивает, – кобылья голова, жениться хочешь?

– А так что, – говорит, – иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параванское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и Манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый на бумазее стеганный, и палаты каменны, и пирога кромку

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»

– C'est fantastique ^[5]! – хрюкнул молодой человек зажав рот рукой. '

– Тсс! Revenons ^[6] в гостиную!

Примечания

1 Мы имеем, вы имеете, они имеют (*фр.*).

2 Перестаньте! (*фр.*)

3 Вильгельм спит у своей новой возлюбленной! (*нем.*)

4 Это так поэтично (*фр.*).

5 Это фантастично! (*фр.*)

6 Вернемся (*фр.*).

Надежда Тэффи

Рекламы

Обратили ли вы внимание, как составляются новые рекламы?

С каждым днем их тон делается серьезнее и внушительнее. Где прежде предлагалось, там теперь требуется. Где прежде советовалось, там теперь внушается.

Писали так:

«Обращаем внимание почтеннейших покупателей на нашу сельдь нежного засола».

Теперь:

«Всегда и всюду требуйте нашу нежную селедку!»

И чувствуется, что завтра будет:

«Эй ты! Каждое утро, как глаза продрал, беги за нашей селедкой».

Для нервного и впечатлительного человека это – отравы, потому что не может он не воспринимать этих приказаний, этих окриков, которые сыплются на него на каждом шагу.

Газеты, вывески, объявления на улицах – все это дергает, кричит, требует и приказывает.

Проснулись вы утром после тусклой малосонной петербургской ночи, берете в руки газету, и сразу на беззащитную и не устоявшуюся душу получается строгий приказ:

«Купите! Купите! Купите! Не теряя ни минуты, кирпичи братьев Сигаевых!»

Вам не нужно кирпичей. И что вам с ними делать в маленькой, тесной квартирке? Вас выгонят на улицу, если вы натащите в комнаты всякой дряни. Все это вы понимаете, но приказ получен, и сколько душевной силы нужно потратить на то, чтобы не вскочить с постели и не ринуться за окаянными кирпичом!

Но вот вы справились со своей непосредственностью и лежите несколько минут разбитый и утираете на лбу холодный пот.

Открыли глаза:

«Требуйте всюду нашу подпись красными чернилами: Беркензон и сын!»

Вы нервно звоните и кричите испуганной горничной:

– Беркензон и сын! Живо! И чтоб красными чернилами! Знаю я вас!...

А глаза читают:

«Прежде чем жить дальше, испытайте наш цветочный одеколон, двенадцать тысяч запахов».

«Двенадцать тысяч запахов! – ужасается ваш утомленный рассудок. – Сколько на это потребуется времени! Придется бросить все дела и подать в отставку».

Вам грозит нищета и горькая старость. Но долг прежде всего. Нельзя жить дальше, пока не перепробуешь двенадцать тысяч запахов цветочного одеколona.

Вы уже уступили раз. Вы уступили Беркензону с сыном, и теперь нет для вас препон и преграды.

Нахлынули на вас братья Сигаевы, вынырнула откуда-то вчерашняя сельдь нежного засола и кофе «Аппетит», который нужно требовать у всех интеллигентных людей нашего века, и ножницы простейшей конструкции, необходимые для каждой честной семьи трудящегося класса, и фуражка с «любой кокардой», которую нужно выписать из Варшавы, не «откладывая в долгий ящик», и самоучитель на балалайке, который нужно сегодня же купить во всех книжных и прочих магазинах, потому что (о, ужас!) запас истощается, и кошелек со штемпелем, который можно только на

этой неделе купить за двадцать четыре копейки, а пропустите срок – и всего вашего состояния не хватит, чтобы раздобыть эту, необходимую каждому мыслящему человеку, вещицу.

Вы вскакиваете и как угорелый вылетаете из дому. Каждая минута дорога!

Начинаете с кирпичей, кончаете профессором Бехтеревым, который, уступая горячим просьбам ваших родных, соглашается посадить вас в изолятор.

Стены изолятора обиты мягким войлоком, и, колотясь о них головой, вы не причиняете себе серьезных увечий.

У меня сильный характер, и я долго боролась с опасными чарами рекламы. Но все-таки они сыграли в моей жизни очень печальную роль.

Дело было вот как.

Однажды утром проснулась я в каком-то странном, тревожном настроении. Похоже было на то, словно я не исполнила чего-то нужного или позабыла о чем-то чрезвычайно важном.

Старалась вспомнить, – не могу.

Тревога не проходит, а все разрастается, окрашивает собою все разговоры, все книги, весь день.

Ничего не могу делать, ничего не слышу из того, что мне говорят. Вспоминаю мучительно и не могу вспомнить.

Срочная работа не выполнена, и к тревоге присоединяется тупое недовольство собою и какая-то безнадежность.

Хочется вылить это настроение в какую-нибудь реальную гадость, и я говорю прислуге:

– Мне кажется, Клаша, что вы что-то забыли. Это очень нехорошо. Вы видите, что мне некогда, и нарочно все забываете.

Я знаю, что нарочно забыть нельзя, и знаю, что она знает, что я это знаю. Кроме того, я лежу на диване и вожу пальцем по рисунку обоев; занятие не особенно необходимое, и слово «некогда» звучит при такой обстановке особенно скверно.

Но этого-то мне и надо. Мне от этого легче.

День идет скучный, рыхлый. Все неинтересно, все не нужно, все только мешает вспомнить.

В пять часов отчаяние выгоняет меня на улицу и заставляет купить туфли совсем не того цвета, который был нужен.

Вечером в театре. Так тяжело!

Пьеса кажется пошлой и ненужной. Актеры – дармоедами, которые не хотят работать.

Мечтается уйти, затвориться в пустыне и, отбросив все бранное, думать, думать, пока не вспомнится то великое, что забыто и мучит.

За ужином отчаяние борется с холодным ростбифом и одолевает его. Я есть не могу. Я встаю и говорю своим друзьям:

– Стыдно! Вы заглушаете себя этой пошлостью (жест в сторону ростбифа), чтобы не вспоминать о главном.

И я ушла.

Но день еще не был кончен. Я села к столу и написала целый ряд скверных писем и велела тотчас же отослать их.

Результаты этой корреспонденции я ощущаю еще и теперь и, вероятно, не изглажу их за всю жизнь!...

В постели я горько плакала.

За один день опустошилась вся моя жизнь. Друзья поняли, насколько нравственно я выше их, и никогда не простят мне этого. Все, с кем я сталкивалась в этот великий день, составили обо мне определенное непоколебимое мнение. А почта везет во все концы света мои скверные, то есть искренние и гордые письма.

Моя жизнь пуста, и я одинока. Но это все равно. Только бы вспомнить.

Ах! Только бы вспомнить то важное, необходимое, нужное, единственное мое!

И вот я уже засыпала, усталая и печальная, как вдруг словно золотая проволочка просверлила темную безнадежность моей мысли. Я вспомнила.

Я вспомнила то, что мучило меня, что я забыла, во имя чего пожертвовала всем, к чему тянулась и за чем готова была идти, как за путеводной звездой к новой прекрасной жизни.

Это было объявление, прочтенное мною во вчерашней газете.

Испуганная, подавленная, сидела я на постели и, глядя в ночную темноту, повторяла его от слова до слова. Я вспомнила все. И забуду ли когда-нибудь!

«Не забывайте никогда, что белье монополь – самое гигиеничное, потому что не требует стирки».

Вот!

Надежда Тэффи

Разговоры

Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босоножек, разговаривающих ногами.

Многие русские артистки уже изучают это искусство.

И хорошо делают.

У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Не многие из нас могут быть уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как например, в следующем диалоге:

– Уж и поговорить нельзя?

– Я тебе поговорю!

– Уж и погулять нельзя?

– Я тебе погуляю!

Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которою произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.

Переведите эту фразу французу. То-то удивится!

А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собеседников ни разу не сказал того слова, которое хотел.

Понимали друг друга только по интонации, по выпученным глазам и размахивающим рукам.

Ах, как бы здесь пригодились хорошо дрессированные ноги!

Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой-то премьеры, так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, пролезали «в хвост».

Вдруг появляется какая-то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направляется к кассе, не выжидая очереди.

Стоявший у двери швейцар остановил:

– Потрудитесь стать в очередь!

Личность огрызнулась:

– Оставьте меня в покое!

Тут и начался разговор. Оба говорили совсем не то, что хотели, с грехом пополам понимая друг друга по интонации.

– Тут не оставленье, а потрудитесь тоже порядочно знать! – сказал швейцар с достоинством.

Фраза эта значила, что личность должна вести себя прилично.

Личность поняла и ответила:

– Вы не имеете права через предназначенье, как стоять у дверей. И так и знайте!

Это значило: ты – швейцар и не суйся не в свое дело.

Но швейцар не сдавался.

– Должен вам сказать, что вы напрасно относитесь. Не такое здесь место, чтобы относиться! (Не затевай скандала!)

– Кто кому и куда – это уж позвольте, пожалуйста, другим знать! – взбесилась личность.

Что значила эта фраза, я не понимаю, но швейцар понял и отпарировал удар, сказав язвительно:

– Вы опять относитесь! Если я теперь тут стою, то, значит, совершенно напрасно каждый себя может понимать, и довольно совестно при покупающей публике, и надо совесть понимать. А вы совести не понимаете.

Швейцар повернулся к личности спиной и отошел к двери, показывая равнодушным выражением лица, что разговор окончен.

Личность сердито фыркнула и сказала последние уничтожающие слова:

– Это еще очень даже неизвестно, кто относится. А другой по нахальству может чести приписать на необразованность.

После чего смолкла и покорно стала в «хвост».

И мне представлялось, что оба они, вернувшись домой, должны же будут проболтаться кому-нибудь об этой истории. Но что они расскажут? И понимают ли сами, что с ними случилось?

Летом мне пришлось слышать еще более трагическую беседу.

Оба собеседника говорили одно и то же, говорили томительно долго и не могли договориться и понять Друг друга.

Они ехали в вагоне со мною, сидели напротив меня. Он – офицер, пожилой, озабоченный. Она – барышня.

Он занимал ее разговором о даче и деревне.

Собственно говоря, оба они внутренне говорили следующую фразу:

«Кто хочет летом отдохнуть, тот должен ехать в деревню, а кто хочет повеселиться, пусть живет на даче».

Но высказывали они эту простую мысль следующим приемом.

Офицер говорил:

– Ну, конечно, вы скажете, что природа и там вообще... А дачная жизнь – это все-таки... Разумеется...

– Многие любят ездить верхом, – отвечала барышня, смело смотря ему в глаза.

– А соседей, по большей части, мало. На даче сосед – пять минут ходьбы, а в де...

– Ловить рыбу очень занимательно, только не...

– ...деревне пять верст езды!

– ...неприятно снимать с крючка. Она мучится...

– Ну и, конечно, разные спектакли, туалеты...

– В деревне трудно достать режиссера.

– Ну, что там! Из Парижа специальные туалеты выписывают. Разве можно при таких условиях поправиться?

– Нужно пить молоко.

Офицер посмотрел на барышню подозрительно:

– Уж какое там молоко! Просто какая-то окись!

– Ах нет, у нас всегда чудесное молоко!

– Это из Петербурга-то в вагонах привозят чудесное? Признаюсь, вы меня удивляете.

Барышня обиделась.

– У нас имение в Смоленской губернии. При чем же тут Петербург?

– Тем стыднее! – отрезал офицер и развернул газету.

Барышня побледнела и долго смотрела на него страдающим взором.

Но все было кончено.

Вечером, когда он, сухо попрощавшись, вылез на станции, она что-то царапала в маленькой записной книжке.

Мне кажется, она писала:

«Мужчины – странные и прихотливые создания! Они любят молоко и рады возить его с собой всюду из Петербурга»...

А он, должно быть, рассказывал в это время товарищу:

– Ехала со мной славенькая барышня. Но около Тулы оказалась испорченной до мозга костей, как и все современные девицы. Все бы им только наряжаться да веселиться. Пустые души!...

Если бы этот офицер и эта барышня не игнорировали школу великой Айседоры, может быть, их знакомство и не кончилось бы так пустоцветно.

Уж ноги, наверное, в конце-концов заставили бы их сговориться!